PG 3351.5
.A 65

THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA

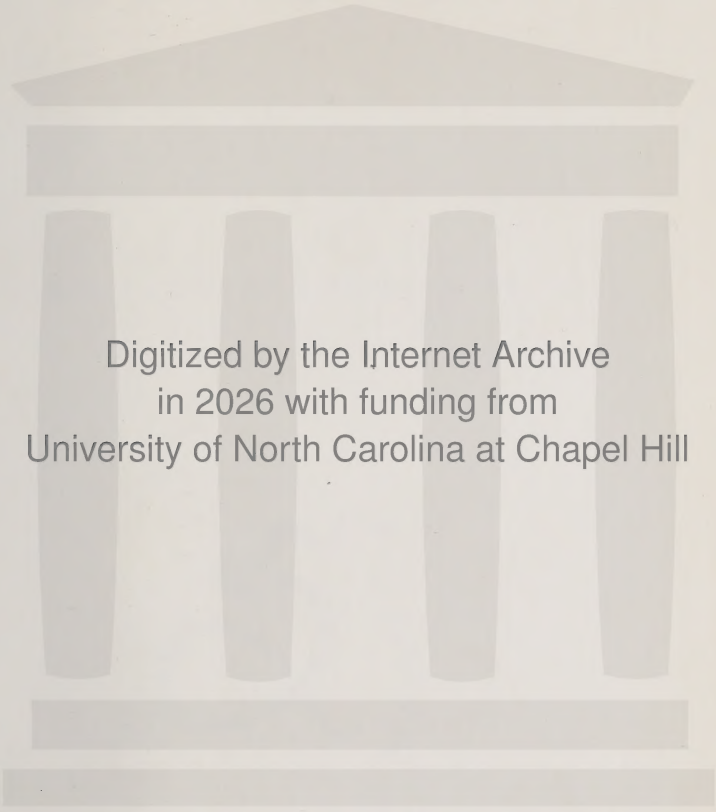
ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

PG3351.5
.A65

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
00017408315

This book is due at the LOUIS R. WILSON LIBRARY on the last date stamped under "Date Due." If not on hold it may be renewed by bringing it to the library.

DATE DUE	RET.	DATE DUE	RET.
Form No. 513			


Digitized by the Internet Archive
in 2026 with funding from
University of North Carolina at Chapel Hill

https://archive.org/details/pushkinitsarskoe00anne

ПУШКИН
И
ЦАРСКОЕ СЕЛО

ИННОКЕНТИЯ АННЕНСКОГО

„ПАРѲЕНОН“
САНКТПЕТЕРБУРГ
1921

141
PG3351.5
.A65

ПУШКИН
И
ЦАРСКОЕ СЕЛО

PUSHKIN I TSARSKOE SELO

ИННОКЕНТИЯ АННЕНСКОГО

„ПАРѲЕНОН“
САНКТПЕТЕРБУРГ
ПЕЧАТАНО В 26 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТИПОГРАФИИ
1921

МАРКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА
РАБОТЫ ХУДОЖНИКА Н. А. ТЕРСЫ

Напечатано в количестве 1000 экземпляров
РЗЦ. ПЕТЕРБУРГ. ДЕКАБРЬ 1921

ПУШКИН и ЦАРСКОЕ СЕЛО

РЕЧЬ, ПРОИЗНЕСЕННАЯ И. Ф. АННЕНСКИМ *), В БЫТНОСТЬ ЕГО ДИРЕКТОРОМ ЦАРСКОСЕЛЬСКОЙ МУЖСКОЙ ГИМНАЗИИ, 27 МАЯ 1899 Г., НА ПУШКИНСКОМ ПРАЗДНИКЕ В КИТАЙСКОМ ТЕАТРЕ, В ЦАРСКОМ СЕЛЕ

*) † 30 ноября 1909 года.

I

Сто лет тому назад, в Москве, на Немецкой улице, родился человек, которому суждено было прославить свою родину и стать ее славой.

Бог дал ему горячее и смелое сердце и дивный дар мелодией слов сладко волновать сердца. Жребий судил ему короткую и тревожную жизнь и ряд страданий. Сам он оставил миру труд, ценность которого неизмерима. Этого человека звали Александр Сергеевич Пушкин.

Вчера и сегодня это имя у всех на устах. В церквах молятся об упокоении души раба Божия Александра, и нет, я думаю, того русского ученика, который, умея петь панихидные молитвы, не захотел бы примкнуть к хору молящихся за любимого поэта.

Не только урочища Пушкинской славы, как Москва, Петербург, Михайловское и Царское Село чествуют Пушкина и вспоминают о своей прикосновенности к его жизни и творчеству. Даже случайные пристанища поэта,—а куда не бросала его судьба от Виноградной долины до Арского поля, и от Невы до Арпачая?—даже такие города, где он провел два—три дня в жизни, и те, к юбилею собрали между старожилов клочки их старческих воспоминаний о дорогом госте: его обиталища разысканы и отметились надписями, и некоторые из них, верно, станут с этого дня читальнями, школами, богадельнями. Всякая черта не только в судьбе поэта или истории его рода, но даже в биографии его друзей получает для нас теперь какую-то новую ценность, и мы жадно роемся в пыли всевозможных архивов—и консисторских и военно-

судных, чтобы добыть данные для освещения образа поэта, его творчества и судьбы.

Сооружаются новые памятники: у нас, в Одессе, в Петербурге. Не забыт и завещанный им **нерукотворный**,—его сочинения, и надо надеяться, что наша Академия, издав их проверенный текст, раз навсегда положит предел наивным ошибкам и дерзким поправкам его издателей.

Пора вспомнить, каких часто мучительных усилий, еще с лицейской скамьи, стоили Пушкину точность его выражений и музыкальность стихов. Может быть, и в народных аудиториях подлинный Пушкин мало-по-малу заменит рассказанного.

А кто исчислит эти речи, гимны, увенчанные бюсты поэта, цветы, которыми они будут засыпаны, и строчки Пушкинских стихов, которые сегодня слетят с уст? Тени поэта вовсе не нужно наивной дани наших восторгов, и мы это знаем; но она нужна нам самим, как залог светлых и долгих воспоминаний об исторических днях Пушкинского юбилея. Справедливость требует отметить также, что родина поминает Пушкина не одними цветами и песнями: сколько стипендий, школ, читален и больниц наречется отныне во имя того, кто лирой пробуждал в нас добрые чувства!

Но чей же праздник сегодня? Кто идет на Пушкинские торжества, кто их устраивает? Празднуют хранилища и рассадники русского просвещения,—все от Академии Наук до самой скромной школы. Еще бы им не праздновать! Ведь все тайны нашего языка и народности и драгоценнейший залог их бесконечного развития, они там, в Пушкинских творениях: там и уроки, и образцы, и школьный труд, и школьный отдых.

Празднуют и писатели: Пушкин не только дал им совершеннейшие из творений русского слова и доказал, что бессмертие может быть уделом и русского гения; он не только отлил для них новые формы творчества, ставшие мировыми под пером его преемников, но он дал им два новых орудия небывалой дотоле гибкости: свой язык и свой стих. Говорить ли о том, что своим гением, благородством натуры и высоким

трагизмом жребия он поднял самое достоинство русских писателей.

Празднуют художники-живописцы, скульпторы, композиторы и артисты: не только поэзия и судьба, даже самые черты Пушкина близки их вдохновению. Чтобы не называть живых современников, я напомню вам только имена: Брюллова, Кипренского, Ге, Глинки, Даргомыжского, Мусоргского, Чайковского. И так, на праздник идет школа, литература и искусство—но ведь для них Пушкин блистательный патрон, и связи их с поэтом, несмотря на все свое значение, все-таки связи профессиональные. Есть другие узы, которые связывают с Пушкиным всех русских без различия. Этим узам не суждено стареть, и Пушкинскую поэзию можно сравнить с его Людмилой, над которой бессильны чары Черномора—времени. Разве теперь, читая или повторяя на память его «Пророка» или «Анчара», мы чувствуем на плечах гири столетнего юбилея? Разве божественная речь монологов «Бориса Годунова» кажется нам созданной 75 лет тому назад? Разве самые архаизмы Пушкина не дышат всей наивностью живого чувства?

Но детский лик царевича был ясен.
И свеж, и тих, как будто усыпленный.

Я спрошу у вас, разве вы знаете хоть одного человека, рожденного под русским небом и умеющего читать по-русски, и чтобы ни разу в жизни и ни одна строка Пушкинской поэзии не заставила его сердце хоть на минуту забиться сильнее обыкновенного?

Вот из этих-то непосредственных и живых впечатлений Пушкинской поэзии и слагается настоящее торжество его памяти, в них и надо искать духовного центра наших праздников.

Но кто же мы, кто читатели Пушкина? Поэт мечтал когда-то о «народной тропе» к своему «нерукотворному памятнику», т. е. поэзии,—и время пролагает эту тропу...

На наших глазах сбывается и вещее слово поэта об широкой известности его имени «в подлунном мире». Пушкина

называют и читают на 52 языках; вот уже 76 лет, как его стали переводить, и есть мировые языки, которые насчитывают более 250 его переводов и изучений, а среди обладателей переводов проходят перед нами не только «гордый внук славян», т. е. все славянские народы, но и финн, и «друг степей калмык», которых пророчески называл поэт в своей оде.

II

Судьба особенно тесно связала имя Пушкина с Москвой, где он родился, с Петербургом, где жизнь его, по словам биографа, «завершилась событием, исполненным драматической силы и глубокой нравственной идеи», и, наконец, с Михайловским, возле которого находится его могила. И совершенно справедливо, если на Пушкинском торжестве первые места принадлежат нашим столицам и Святым Горам. Но и у **Царского Села** на всероссийской тризне есть свое и неотъемлемое место.

Здесь Пушкин провел 6½ лет; в этих садах зацветал его дивный талант, наконец, здесь поэт два раза жил иллюзиями счастья: сначала в кругу лицейских друзей, а потом в медовый месяц, летом 1831 года.

Кто не помнит стихотворений и отдельных строф, посвященных Пушкиным Царскому Селу—они блещут по всем страницам его поэзии, точно беглые и светлые улыбки воспоминания. Вспомните хоть эти строчки:

В те дни, в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близь вод, сиявших в тишине,
Являться муза стала мне.

Пушкина привезли в Царское Село в 1811 году, когда ему было 12 лет, и он прожил здесь июнь и июль еще до поступления в Лицей, который открылся только 19 октября. И вот через четыре года в идиллии «Городок» он вспоминает свои первые впечатления от Царского Села.

Живу я в городке,
Безвестностью счастливом:
Я нанял светлый дом,
С диваном, с комельком,
Три комнатки простые —
В них злата, бронзы нет,
И ткани выписные
Не кроют их паркет.
Окошки в сад веселый,
Где липы престарелы
С черемухой цветут;
Где мне в часы полдневны
Березок своды темны
Прохладну тень дают,
Где ландыш белоснежный
Сплелся с фиалкой нежной,
И быстрый ручеек,
В струях неся цветок,
Невидимый для взора,
Лепечет у забора.

Далее в той же пьесе поэт описывает и озеро, которое поразило его детское воображение: там

... лебедь белоснежный,
Оставя злак прибрежный
Любви и неги поли,
С подругою своею,
Закинув гордо шею,
Плывет во злате волн.

Вы видите, что форма стиха еще слаба; рифма условна и иногда изменяет; а самое подражание Батюшкову мешает свободной художественной передаче впечатлений, но разве вы не чувствуете уже правдивого Пушкинского колорита на этих маленьких уютных домиках, Бог весть откуда журчащих ручейках, великолепном озере с лебедями и старых, тенистых

зарослях садов за ветхими заборами? Но более всего, конечно, Пушкин любил наш великолепный парк. Он воспел его в том стихотворении, которое так восхитило и растрогало старика Державина.

Навис покров угрюмой нощи
На своде дремлющих небес.
В безмолвной тишине почили дол и рощи,
В седом тумане дальний лес.
Чуть слышится ручей, бегущий в сень дубравы,
Чуть дышит ветерок, уснувший на листах,
И тихая луна, как лебедь величавый,
Плывет в сребристых облаках...

Я не буду читать вам далее этого стихотворения. Его поэтический аромат уже испарился для нас и безвозвратно. В картине лунной ночи, озаряющей лилии на полях, и наяд, и бисерную реку водопадов, трудно узнать царскосельский парк. Живее передана разве поэзия памятников.

Он видит: окружен волнами,
Над твердой, мшистою скалой
Вознесся памятник. Ширяяся крылами,
Над ним сидит орел младой.
И цепи тяжкие, и стрелы громовые
Вкруг грозного столпа трикраты обвились;
Кругом подножия шумя валы седые
В блестящей пене улеглись.

Но искреннее и сильное патриотическое чувство, проникавшее пьесу, придавало ей, конечно, в оживленном чтении Пушкина какое-то волшебное обаяние. «В этих великолепных стихах было затронуто все живое для русского сердца», говорит лицейский товарищ Пушкина, «когда Державин со слезами на глазах бросился целовать поэта и осенил его кудрявую голову, мы все под каким-то неведомым влиянием благоговейно молчали».

Если внимательно приглядеться к ранним одам Пушкина, вдуматься в эту величавую красоту, которая когда-то пленяла и даже трогала, а теперь кажется и условной, и холодной, то мы найдем в ней не только дань гениального юноши своему веку, воспитанию и возрасту. Кто-то говорил, что он глубже чувствует красоты трагедий Расина, когда думает о них, стоя на веранде Версальского дворца, в виду перспективы величавых аллей и строгой гармонии этих искусственных групп...

Я применил бы эти слова к царскосельским одам Пушкина, да, пожалуй, и к целой полосе его творчества. Если на его лире, бесконечно видоизменяясь, никогда не смолкали

Те гимны важные, внушенные богами...

и если слова Пушкина

Служенье муз не терпит суеты:
Прекрасное должно быть **величаво**—

истинное поэтическое признание, то за юношескими впечатлениями поэта в Царском Селе должна утвердиться их настоящая ценность.

Именно здесь, в этих гармонических чередованиях тени и блеска: лазури и золота; воды, зелени и мрамора; старины и жизни; в этом изящном сочетании природы с искусством Пушкин еще на пороге юношеского возраста мог найти все элементы той строгой красоты, которой он остался навсегда верен и в очертаниях образов, и в естественности переходов, и в изяществе контрастов (сравните их хотя бы с прославленными Державинскими), и даже в строгости ритмов (напр. в пятистопных ямбах «Бориса Годунова», где однообразная и величавая плавность достигается строгим соблюдением диэрезы после четвертого слога).

Вы скажете: он видел после Кавказ, море, степи. Не обесценивая впечатлений южного периода, я позволил бы себе заметить, что Пушкин любовался грандиозными картинами гор и волн после того, как глаз его воспитался на спокойно и

изящно величавых контурах Царскосельских садов. Этого мало: в Царском Селе поэта окружали памятники нашего недавнего прошлого, в нем еще жил своей грандиозной и блестящей стороной наш восемнадцатый век, и Пушкин должен был тем живее чувствовать славу и обаяние недавних подвигов русского оружия, что его первые царскосельские годы совпали с событиями отечественной войны. Не отсюда ли, не из этих ли садов, не от этих ли памятников, простых и строгих, но много говоривших сердцу впечатлительного юноши, идут те **величавые** образы, которые так бесконечно разнообразны на страницах его поэзии? Вот великий Петр—этот железный исполин, бесстрашный и бесповоротный; вот измученный совестью Годунов, уже величаво спокойный в сознании неизбежного возмездия, вот величавый в своем смирении патриарх, вот раненый в голову капитан Миронов перед виселицей, вот идеал, синтез царственного и женственного обаяния—императрица Екатерина, когда она поднимает с полу его испуганную, расплаканную и очарованную дочь. А эти грандиозные тоскующие тени Наполеона, Шенье, Байрона, Овидия? Не здесь ли произошло у Пушкина и поэтическое зарождение еще смутного героического образа?

Еще в «Воспоминаниях о Царском Селе» (1815 г.) поэт изобразил два памятника: великолепный—Орловский, а рядом

В тени густой угрюмых сосен
Вознесся памятник простой—

в честь победителя при Кагуле, Румянцова.

В этом сочетании нельзя ли видеть первого намека, первого эскиза для тех грандиозных образов, которые позже Пушкин облек один чертами Кутузова, другой Барклая-де-Толли?

Не здесь ли Пушкина стали волновать впервые идеи историчееской правды и возмездия? Не от спокойных ли гранитов Царскосельского сада шла мысль поэта, которая вылилась потом в великодушный призыв к оправданию развенчанной тени Наполеона?

Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Его развенчанную тень.

Не здесь ли Пушкин вообще получил вкус к историческим занятиям, эту склонность, столь определительную для всей его литературной деятельности?

Оставаясь в области лиризма, мы найдем, что именно в Царском Селе, в этом парке «воспоминаний», по преимуществу, в душе Пушкина должна была впервые развиться наклонность к поэтической форме **воспоминаний,** а Пушкин и позже всегда особенно любил этот душевный настрой.

Воспоминания вырывали у него самые задушевные звуки и самые смелые признания:

Для бедной легковерной тени,
Для сладкой памяти невозвратимых дней,
Не нахожу ни слез, ни пеней.

Вспомните строчки, посвященные Дельвигу, няне, юности в Михайловском:

Уж десять лет ушло с тех пор, и много
Переменилось в жизни для меня;
И сам, покорный общему закону,
Переменился я. Но здесь опять
Минувшее меня об'емлет живо—
И кажется, вчера еще бродил
Я в этих рощах.

А его драматические сцены «Русалка»?

Прелесть этого, может быть, совершеннейшего из созданий Пушкина едва ли нарушается даже неоконченностью. Что дал бы конец?

Да разве руки Милосской Амфитриты—Венеры или голова Крылатой Победы усилили бы для нас обаяние этих статуй? Анализируя впечатления, рождаемые «Русалкой», мы

видим целую гамму настроений одного и того же типа: это **воспоминания**, это—различно ощущаемое князем и старым вороном, русалкой и княгиней, сознание **безвозвратности** пережитого. Одна из сильнейших, по лиризму пьес Пушкина, его «Воспоминание» (1828 г.) имеет в основании тоже душевное настроение.

В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья.
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю.
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

Интересно сравнить эту пьесу с написанной в следующем году, когда Пушкин, после долгой разлуки, зимой 1829 года посетил Царскосельский парк.

Воспоминаньями смущенный,
Исполнен сладкою тоской,
Сады прекрасные, под сумрак ваш священный
Вхожу с поникшею главой.
Так отрок Библии—безумный расточитель,
До капли истощив раскаянья фиал,
Увидел, наконец, родимую обитель,
Главой поник и зарыдал.

Обратите внимание как смягчился тон «воспоминаний»: даже библейский символ—уже не тот: вместо мрачных картин греха и ангелов с пламенным мечем, здесь трогательная притча о блудном сыне.

И долго я блуждал, и часто, утомленный,
Раскаяньем горя, предчувствуя беды,
Я думал о тебе, приют благословенный,

Воображал сии сады.
Воображал сей день счастливый,
Когда средь них возник Лицей,
И слышал снова шум игривый,
И видел вновь семью друзей.
Вновь нежным отроком, то пылким, то ленивым,
Мечтанья смутные в груди моей тая,
Скитался по лугам, по рощам молчаливым...
Поэтом забывался я...

Пушкин любил Царское Село, потому что там прошло его отрочество и юность, и нам возразят, пожалуй, что ранние годы жизни всегда кажутся розовыми в воспоминаниях.

Не сказал ли тот же Пушкин:

«Что пройдет, то будет мило»?

Да, но отчего же Захарово и Москва гораздо реже вспоминались Пушкину, и отчего в стихах его нет совсем трогательного образа материнской ласки, как у Гоголя, у гр. Льва Толстого, у Гончарова (вспомните слезу Обломова)?

Отчего, с другой стороны, царскосельские воспоминания так тесно связаны у Пушкина с самым представлением о творчестве?

В лицейских пьесах, а частью и позднейших, у Пушкина мы найдем не мало указаний на то, как это творчество пряталось по зарослям сада, а иногда властно порывалось наружу.

Когда еще не знаемый никем,
Не зная ни трудов, ни цели, ни систем,
(Он) пеньем оглашал приют забав и лени
И царскосельские хранительные сени.

Наблюдение показывает, что процесс творчества соединялся у Пушкина: или с грезами «первосония» (Пушкинское не привившееся слово), или с лесными зарослями где-нибудь около воды.

Вы помните?

Бежит он дикий и суровый,
И звуков, и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы.

Но еще гораздо ранее, в 1815 году, обращаясь к своему учителю, Николаю Федоровичу Кошанскому (на поэтическом языке—Аристарху), Пушкин рисует подобную же картину, только она не идеализирована, она не успела еще, так сказать, оторваться от почвы.

Брожу ль над тихими водами
В дубраве темной и глухой,
Задумаюсь, взмахну руками,
На рифмах вдруг заговорю,
И никого уж не морю
Моими тайными стихами.

Интересно, что уже здесь, в Царском Селе, природа создавала не только атмосферу для Пушкинского творчества, но она позволяла и, может быть, даже звала его проверять силу и звучность созданного.

Не то же ли делал поэт и позже, когда в Михайловском спугивал своими стихами стан молодых уток? Не о том же ли читаем и в «Разговоре книгопродавца с поэтом» (написан в 1824 году и касается южных впечатлений)?

В гармонии соперник мой
Был шум лесов, иль вихорь буйный,
Иль иволги напев живой,
Иль ночью моря гул глухой,
Иль шопот речки тихоструйной.

Среди прогулок по Царскосельским садам, куда лицеистов летом пускали на целые дни, живая фантазия Пушкина

не раз рисовала себе сад и дворец, какими они были, по рассказам, раньше, при императрице Елизавете и при Екатерине II.

Та лужайка направо от мраморного мостика, куда лицеистов водили играть в мяч и лапту, и при нем еще носила название «розового поля»: в царствование Семирамиды севера там действительно были розы.

Царскосельский дворец, построенный в 1744 году графом Растрелли, был архитектурным чудом своего времени. Кто не слыхал рассказа о том, как французский министр, маркиз де-ла Шетарди назвал дворец Елизаветы драгоценностью, которую бы надо было держать в футляре. Я склонен думать, что на известное изображение волшебных садов и чертога во второй песне «Руслана и Людмилы» не остались без влияния картины Царскосельского сада и дворца: только, конечно, переработанные фантазией, на основании преданий о золотой роскоши 18-го века. Это тем более вероятно, что первые песни «поэмки» были написаны Пушкиным еще в Лицее. Но не надо забывать, конечно, что он тогда же читал Ариоста, бредил Богдановичем и что вообще природа действовала на него не деталями, а общим впечатлением, я бы сказал музыкой рождаемых настроений.

Летят алмазные фонтаны
С веселым шумом к облакам;
Под ними блещут истуканы
И, мнится, живы; Фидий сам,
Питомец Феба и Паллады,
Любуясь ими, наконец,
Свой очарованный резец
Из рук бы выронил с досады.
Дробясь о мраморны преграды
Жемчужной огненной дугой,
Валятся, плещут водопады,
И ручейки в тени лесной
Чуть вьются сонною волной.
Приют покоя и прохлады,
Сквозь вечну зелень здесь и там

Мелькают светлые беседки,
Повсюду роз живые ветки
Цветут и дышат по тропам.

Преображенный Царскосельский сад мы находим и в одном из неразгаданных и неоконченных стихотворений 1830 года: оно начертано в таких же простых и строгих штрихах, как позднейшие «Странник» и «Анджело», но его величаво мистический тон еще усиливается от формы Дантовских терцин;

это—«В начале жизни школу помню я».

И часто я украдкой убегал
В великолепный мрак чужого сада,
Под свод искусственный порфирных скал.

Там нежила меня дерев прохлада;
Я предавал мечтам свой слабый ум,
И праздномыслить мне была отрада.

Любил я светлых вод и листьев шум,
И белые в тени дерев кумиры,
И в ликах их печать недвижных дум.

Все мраморные циркули и лиры,
И свитки в мраморных руках,
И длинные на их плечах порфиры.

III.

Но что же представлял из себя тот Царскосельский Лицей, о котором Пушкин не раз говорил с любовью и для которого позже, в тяжелые годы Аракчеевского режима, его имя, по признанию старого лицеиста (Грота), обратилось в спасительный палладиум? Это учебное заведение возникло в тяжелое для России время, перед самой войной, и первые го-

ды наступивших после войны перемен еще застали Пушкина в Лицее. Тем не менее, в Лицейском уставе и его порядках при Пушкине еще вполне чувствовалось

Дней Александровых прекрасное начало.

Казалось, тень Великой монархини, ее высокие воспитательные заветы охраняли питомцев, которым Ее Благословенный Внук отдал часть своих царственных покоев.

В Лицее были уставом запрещены телесные наказания—черта в высокой степени замечательная; в интернате не было обычного и в наше время казарменного устройства; всем питомцам полагались отдельные комнаты—«кельи», как их называл Пушкин; пансионский день распределялся гигиенично: на ученье 7 часов, остальное время прогулки, игры, гимнастика. Курс был общеобразовательный и рассчитан только на шесть лет. Прекрасная библиотека выписывала всю периодическую печать, и лицеисты читали много и свободно. Профессора аттестовали питомцев не цифрами, а отзывами, и еще теперь, благодаря этому, можно видеть индивидуальные черты Пушкина и его товарищей в школьном возрасте. А где теперь такие педагоги и директора, как Пушкинский,—к сожалению, на один лишь год, Егор Антонович Энгельгардт, который оставался на всю жизнь другом, опекуном и представителем за своих питомцев? Правда, и не много их было на первых порах, при Пушкине всего тридцать.

Вот послушайте, как характеризуется лицейская жизнь первого периода в письме Илличевского к бывшему гимназическому товарищу: «Благодаря Богу, у нас по крайней мере царствует с одной стороны свобода (а свобода дело золотое). Нет скучного заведения сидеть à ses places; в классах бываем недолго: 7 часов в день; больших уроков не имеем, летом досуг проводим в прогулке, зимою в чтении книг, иногда представляем театр, с начальниками обходимся без страха, шутим с ними, смеемся». Не правда ли, что это не походит на выдумку? Но вы заметите мне, что в тех же письмах Илличевского есть указания и на теневую сторону лицейской жизни: ученье шло не систематично, успехи были слабые и во вся-

ком случае неравномерные: об этом не раз говорил впоследствии и сам Пушкин (напр., в письме к брату). Учителя? Я не буду тревожить сегодня теней почтенного Николая Федоровича Кошанского или математика Карцова из-за непройденных параграфов латинской грамматики или недоказанных теорем, тем более, что для своего времени и Куницын, и Кайданов, и Кошанский, и Карцов были люди хорошо образованные, учились и за границей, писали книги. Поэт Батюшков когда-то сказал про своего молодого соперника Пушкина, что его следовало бы подольше продержать на молочном супе и логике. Но судьба распорядилась иначе: ей было угодно, чтобы прилежный Кошанский при Пушкине часто прихварывал—и, кажется, белой горячкой; а заменявший его Галич, вместо чтения Горация, вел с учениками беседы и даже—о ужас!—пил в их кельях гогель-могель.

Но если вглядеться попристальнее, то окажется, что воспитание Пушкина и его сверстников вовсе не было оставлено в пренебрежении, по крайней мере, при Энгельгардте. Энгельгардт заботился о развитии в юношах литературных интересов и даже поощрял писательство; а это было далеко не так мелко, как может показаться с первого взгляда. Вспомните, что самые образованные выдающиеся русские люди того времени получали образование почти исключительно литературное.

В лицее завелось даже под председательством Энгельгардта литературное общество «лицейские друзья полезного», и если оно, не получив официальной санкции, должно было через год, в 1822 году, прекратить свое существование, то журнально-литературные традиции сохранились в лицее надолго, значит, у них был здоровый, крепкий корень. Во всяком случае, для Пушкина, а значит и для всех нас, его читателей, эта молодая лицейская литература, эта гуманная свобода и дружеское общение лицеистов с профессорами сослужили большую службу. Пушкин написал в лицее 130 стихотворений и уже здесь приучился серьезно работать над отделкой стиха. Товарищ, который сказал о Пушкине очень мало лестных слов, и тот признает, что «при всей наружной легкости его прелестных стихотворений, Пушкин мучился

над ними по часам и сутками и в каждом почти стихе было бесчисленное множество помарок».

А кто знает, если бы еще в лицее Пушкин не прошел практического курса поэзии и не пережил периода подражаний (Державину, Жуковскому, Батюшкову и ранним французским парнасцам), если бы вместо досуга для творческих снов и вдохновения и для отделки стихов, он выучил вчетверо больше уроков и прослушал гораздо больше, по-тогдашнему, ученых лекций, если бы, наконец, у него не было литературных общений, подстрекающего соперничества метромановдрузей,—удалось ли бы ему войти в жизнь уже сложившимся писателем, успел ли бы он в короткий срок, отмеженный ему судьбою, создать все то великое и вечное, что он нам оставил? Не надо забывать и положительных знаний и навыков, вынесенных Пушкиным из лицея: он был несравненно грамотнее Лермонтова, я уже не говорю о Гоголе; он вышел из лицея с порядочным запасом сведений по мифологии и истории, по русской литературе, и выучился по-латыни: по крайней мере, на юге он читает Овидия в подлиннике, а, поступая в лицей, читал Виргилия во французском переводе. Положение лицея в обществе установилось не сразу. Государь Александр Павлович и вся царская семья не раз удостоивали лицей своими посещениями, лицеистов пускали проводить целые дни в аллеях царских садов, но для общества долго мундир лицеиста казался немножко диким. Вот что рассказывает И. И. Пущин, лицейский сверстник и друг Пушкина, о первом выпуске 1817 года:

«Мы шестеро, намеченные в гвардию, были в лицейских мундирах на параде гвардейского корпуса. Под'езжает к нам граф Милорадович, тогдашний корпусный командир, с вопросом, что мы за люди, и какой это мундир? Услышав наш ответ, он несколько задумался и потом очень важно сказал окружающим его: «Да, это не то, что университет, не то, что кадетский корпус, не семинария—это лицей». Поклонился, повернул лошадь и ускакал».

В дамских устах лицею присвоивался тоже не особенно лестный эпитет «l'inévitable».

В последние годы пребывания в школе Пушкин сблизился в Царском с некоторыми из офицеров Лейб-Гусарского полка. Из них один, особенно, П. Я. Чаадаев имел на юношу большое влияние, сохранившееся потом чуть ли не на всю жизнь. Он был несколько—года на четыре—старше Пушкина, но гораздо его серьезнее в период первого знакомства. В известном послании с юга поэт связывает с именем Чаадаева все лучшие свои воспоминания о Царском; он ставит под эгиду своего друга и вдохновенный труд, и жажду размышлений, и стремления свои сравняться с веком по образованию. Я с почтением повторяю сегодня имя Чаадаева, потому что Пушкин повторял его всегда с любовью. Между лицейскими товарищами Пушкин выделялся начитанностью: еще ребенком он познакомился в библиотеке отца с литературой прошлого века, конечно, французской или той, которую знали и признавали французы, а в гостиной родителей перевидал всех корифеев нашей литературы начала века: и Дмитриева, и Карамзина, и Жуковского, и Батюшкова. Но, вероятно, не раньше Царского Села в нем созрела мысль посвятить себя именно писательству, и некоторых из товарищей Пушкин в связи с этим не раз вспоминал с благородной признательностью, особенно Дельвига:

Но я уже любил рукоплесканья,
Ты, гордый, пел для муз и для души,
Свой дар, как жизнь, я тратил без вниманья.
Ты гений свой воспитывал в тиши.

Первое из стихотворений Пушкина, напечатанное в большом журнале («Другу стихотворцу», в Вестн. Евр. за 1814 г.), показывает, как серьезно работала мысль юноши, едва достигшего 15 лет, над вопросами о судьбе писателей, особенно поэтов.

Лачужки под землей, высоки чердаки—
Вот пышны их дворцы, великолепны залы.
Катится мимо их фортуны колесо;
Родился нат и наг вступает в гроб Руссо.

Камоэнс с нищими постелю разделяет,
Костров на чердаке безвестно умирает,
Руками чуждыми могиле предан он.

Эта юношеская пьеса была первой ступенью того «культа страданий поэтов и великих людей», который прославил Пушкина. Конечно, судьба не раз заставляла и самого Пушкина бросать милые ему места и порывать дружеские связи: так было с его поспешным от'ездом на юг, и с обязательным возвращением в Михайловское и даже с препровождением в столицу. И сама жизнь могла научить Пушкина страданиям поэта. Но было бы неправильно думать, что, изображая Овидия, Шенье, Байрона, Пушкин проектировал на бумагу только свой собственный душевный мир, свои обиды. Люди, которые делали это—Лермонтов в юности, напр.—обыкновенно повторялись. Наблюдения над поэзией Пушкина, наоборот, убеждают нас в большом разнообразии даже в картинах личного характера. Если он хотел иногда взглянуть прежними глазами, почувствовать себя прежним человеком, он не мог этого сделать: его **воспоминания были сознанием чувства невозвратности**: так было с «Воспоминанием в Царском Селе», то же видим в пьесе «Опять на родине». Всякий раз кисть поэта с волшебной точностью воспроизводила то, что поэт чувствовал **теперь**, а не то, что переживал **прежде**. С этим связана и поэтическая смелость его признаний, и та возвышенная искренность поэта, которая так резко отличается и от экспансивной, безразличной правдивости ребенка, и от холодного цинизма «демонической» натуры.

Вспомните его стихи, посвященные памяти г-жи Ризнич:

Но недоступная черта меж нами есть.
Напрасно чувство возбуждал я:
Из равнодушных уст я слышал смерти весть,
И равнодушно ей внимал я.

Надо ли говорить о том, как мало суб'ективности было у Пушкина в изображениях Шенье, Байрона и Овидия и как не похожи одна на другую эти «потревоженные тени»: изяс-

женного, рано поседевшего и беспомощного Овидия, который с бледной улыбкой принимает дань наивного обожания скифов; Андре Шенье, этого светлого жреца поэзии, оправдавшего судьбою легенды об Арионе и Орфее, и Байрона, тоскующего и гордого гения бури?

Вообще самопризнания Пушкина в поэзии довольно редки, и надо относиться с большой осторожностью к заключениям, которые делает критика о намеках его на собственную судьбу: и Моцарт, и Алеко, и Альбер, и даже Онегин, по-моему, дают очень мало материалов для Пушкинской биографии или характеристики. Даже в лирических пьесах мы нередко встречаем у него какое-то болезненное целомудрие чувства, какую-то боязнь выставить перед толпой свой личный душевный мир, мир, в котором Пушкин считал себя единственным судьей и ответчиком:

Возьмите конец его «Воспоминания»:

И нет отрады мне—и тихо предо мной
Встают два призрака младые,
Две тени милые—два данные судьбой
Мне ангела во дни былые!
Но оба с крыльями и с пламенным мечем,
И стерегут... и мстят мне оба...
И оба говорят мне мертвым языком
О тайнах вечности и гроба.

Кто из читателей, не говорю уже теперешних, но современных пьесе (1828 г.), мог бы усмотреть в библейском образе этой строфы какой-нибудь личный намек, а, между тем, Пушкин признал ее не подлежащей печати.

Вот это-то строгое, почти религиозное отношение к творчеству, которое с таким многообразным постоянством повторяется у Пушкина в его «Возрождении», и в «Черни», и в «Поэте», и в «Пророке», уходит корнями еще в лицейскую почву. Еще со школьной скамьи он дает Жуковскому торжественный обет служить поэзии.

Благослови, поэт! В тиши парнасской сени
Я с трепетом склонил пред музами колени...
Страшусь неопытный бесславного паденья,
Но пылкого смирить не в силах я влеченья,

. . . . . .

Нет, нет решился я без страха, в трудный путь!
Отважной верою исполнилася грудь.
Творцы бессмертные, питомцы вдохновенья!
Вы цель мне кажете в туманах отдаленья;
Лечу к безвестному отважною мечтой,
И, мнится, гений ваш промчался надо мной.

Не чувствуете ли вы, как волны чувства поднимаются здесь у поэта с самого дна души и как им тесно в этих мерных александрийских стихах, еще не чуждых налета юношеской реторики?

В самой дружбе поэт, за ее личной интимной стороной, склонен был видеть нечто высшее, иногда почти мистическое, если ее освящала поэзия, и скрепляли мечты о творчестве и служении прекрасному.

Лучше всего это выразилось в известных стихах «Лицейской годовщины» 1825 года.

Друзья мои, прекрасен наш союз:
Он, как душа, неразделим и вечен,
Неколебим, свободен и беспечен,
Сростался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастие куда б ни повело,
Все те же мы: нам целый мир—чужбина,
Отечество нам—Царское Село.

Еще раньше перед выпуском поэт видит в дружбе какую-то таинственную силу. Вот слова, почти пророческие, с которыми, между прочим, обратился он к Пущину:

Ты вспомни прежнюю любовь,
Мой друг! Она прошла. Но с первыми друзьями

Не резвою мечтой союз твой заключен,
Пред грозным временем, пред грозными судьбами,
О, милый, вечен он!

А как умел Пушкин привязывать к себе людей! Чем был он для своих лицейских товарищей потом на всю жизнь! Вот два свидетельства, хотя выбор их и велик. Я не говорю о самых близких товарищах: ни о Кюхельбекере, ни о Дельвиге. Останавливаюсь на Пущине и Матюшкине. В воспоминаниях Пущина есть рассказ о его свидании с Пушкиным, поразительный по силе искренности. Речь идет о посещении Пущиным Михайловского; этому свиданию посвящены известные строчки:

... Поэта дом опальный,
О Пущин мой, ты первый посетил...

Кто не помнит картины Ге?

Пущин пишет:

«Не было силы остановить лошадей у крыльца, протащили мимо и засели в снегу нерасчищенного двора. Я оглядываюсь: вижу на крыльце Пушкина, босиком, в одной рубашке, с поднятыми вверх руками. Не нужно говорить, что тогда во мне происходило. Выскакиваю из саней, беру его в охабку и тащу в комнату. На дворе страшный холод, но в иные минуты человек не простужается.

Смотрим друг на друга, целуемся, молчим! Он забыл, что надобно прикрыть наготу, я не думал об занидевевшей шубе и шапке. Было около 8 часов утра. Не знаю, что делалось. Прибежавшая старуха застала нас в об'ятиях друг друга, в том самом виде, как мы попали в дом: один почти голый, другой весь забросанный снегом. Наконец, пробила слеза (она и теперь, через 33 года мешает писать в очках). Мы очнулись. Совестно стало перед этой женщиной, впрочем, она все поняла. Не знаю, за кого она приняла меня, только ничего не спрашивая, бросилась обнимать. Я тотчас догадался, что это добрая его няня, столько раз им воспетая, и чуть не задушил ее в об'ятиях».

Был у Пушкина еще товарищ по лицею Ф. Ф. Матюшкин: этот застенчивый и молчаливый человек, казалось, даже и не стоял особенно близко к Пушкину, но прочтите те строчки, единственные, которые он еще мог написать, когда в Севастополе впервые услышал о смерти Пушкина, и вы поймете, чем Пушкин был для первых лицеистов:

«Пушкин убит! Яковлев! Как ты это допустил? У какого (сильное слово) поднялась на него рука, Яковлев, Яковлев! Как мог ты это допустить? Наш круг редеет; пора и нам убираться...»

Беззаветность Пушкина в дружбе, особенно лицейской, отразилась потом на всей его лирике: я не знаю в мире поэта, у которого бы так полно было **поэтическое самозабвение** и **самоотречение**, способность целиком, с головой уйти в одно чувство, забывая при этом обо всем остальном.

Чтобы иллюстрировать эту способность Пушкина, я напомню вам его «Заклинание»:

О, если правда, что в ночи,
Когда покоятся живые,
И с неба лунные лучи
Скользят на камни гробовые,
О, если правда, что тогда
Пустеют тихие могилы,
Я тень зову, я жду Лениры:
Ко мне, мой друг, сюда, сюда!

Явись, возлюбленная тень,
Как ты была перед разлукой,
Бледна, хладна, как зимний день,
Искажена последней мукой.
Приди как дальняя звезда,
Как легкий дух иль дуновенье,
Иль как ужасное виденье, —
Мне все равно: сюда, сюда!

Это стихотворение характерно именно беззаветностью одного чувства, его торжеством не только над всеми остальными

ными, но над самой формой поэтического выражения: она стала так воздушна, чувство так пронизало слова, что нам кажется, что это говорит не поэт, а его сердце. Вообще я беззаветности чувства один из ключей не только обаяния Пушкинской поэзии, но даже ее совершенства.

Второе не менее существенное свойство его лирики заключается в гуманности:

Вспомните «Анчара»:

К нему и птица не летит,
И тигр нейдет. Лишь вихорь черный
На древо смерти набежит
И мчится прочь, уже тлетворный...
Но человека человек
Послал к анчару властным взглядом,
И тот послушно в путь потек
И к утру возвратился с ядом.

Вспомните, как в поэме «Анджело»

... Изабела
Душой о грешнике, как ангел, пожалела
И, пред властителем колена преклоня,
«Помилуй, государь!»—сказала. «За меня
«Не осуждай его. Он (сколько мне известно,
«И как я думаю) жил праведно и честно,
«Покамест на меня очей не устремил.
«Прости же ты его». И дух его простил.

Вспомните, наконец, оправдание Наполеона:

Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Его развенчанную тень!

Гуманность Пушкина была явлением высшего порядка: она не дразнила воображения картинами нищеты и страда-

ия, и туманом слёз не заволакивала сознания: ее источник был не в мягкосердечии, а в понимании и чувстве справедливости. И гуманность была, конечно, врожденной чертой избранной натуры Пушкина. Но, может быть, ее развитию содействовала и обстановка его юности: лицей, на который падали лучи царской ласки и где Пушкин видел не мало снисхождения и к себе, и к своим товарищам.

Мне остается сказать несколько слов о втором пребывании Пушкина в Царском Селе, летом 1831 года. Он только что женился перед этим на Наталье Николаевне Гончаровой, и рядом с ним, в Царском же, поселился Жуковский: у Пушкина ожили воспоминания о светлых днях лицея, и к ним прибавились новые радости и мечты. На досуге, отрезанный от Петербурга холерой, Пушкин стал перебирать старые записи сказок, сделанные им еще в Михайловском: и вот учитель с учеником начинают взапуски писать сказки в стихах. Жуковский написал тогда Берендея, Пушкин—Салтана и Балду.

Судьба хотела, чтобы даже первая муза нашего поэта, его старая голубка и «мама», как он ее называл, Арина Родионовна, была взята из наших же мест, это была крестьянка из-под Суйды, недалеко от Гатчины.

Есть старое лицейское предание, что еще при Энгельгардте был возле лицея поставлен дерновый памятник кубической формы с белой мраморной доской: на доске золотыми буквами вырезана была надпись Genio loci—т. е. Гению-хранителю. Имя Пушкина как-то само собой приурочилось потом к этому местному памятнику, и царскосельские лицеисты окружали свой палладиум благоговением. Прошло без малого 50 лет, лицей перевели в Петербург, и куда девался памятник, я не знаю. Но истинный гений-хранитель наших садов не мог их покинуть, и вчера мы положили первый камень для его царскосельского памятника. Под резцом художника образ поэта уже воплотился, и скоро, молодой и задумчивый от ва-

плыва еще неясных творческих мыслей. Пушкин снова будет глядеть на свои любимые сады, а мы, любуясь им, с нежной гордостью повторять:

Он между нами жил.

Царское Село.

26 мая 1899 года.

№ 2

„ПАРФЕНОН"

ВЫШЛО ИЗ ПЕЧАТИ И ПРОДАЕТСЯ:

1. ДОСТОЕВСКИЙ и ПУШКИН — Сборник статей под ред. А. Л. Волынского
2. ИННОК. АННЕНСКИЙ — Пушкин и Царское Село

ПЕЧАТАЕТСЯ:

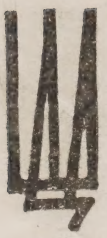
Н. О. ЛЕРНЕР — Герои Пушшевого Века
Н. Ф. ПАВЛОВ — Именины, со статьей В. Данилова
СОБОЛЕВСКИЙ — друг Пушкина, со статьей В. И. Саитова, с эпиграммами и письмами
ВЛ. ПЯСТ — Л. А. Мей и его поэзия

ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ:

Б. Л. МОДЗАЛЕВСКИЙ — Пушкин в тайном надзоре
Э. Ф. ГОЛЛЕРБАХ — Царское Село в поэзии
М. С. ЛУНИН — Письма из Сибири, редакция С. Я. Штрайха
А. М. МУРАВЬЕВ — Воспоминания декабриста, ред. С. Я. Штрайха
С. Я. ШТРАЙХ — Офицеры в восстании 1820 года
НАРОДОВОЛЬЦЫ — Неизданные письма, редакция Р. М. Кантора

Ленкнига
Москва
Р. К.
кв. № 12-50
043081/772

25-00.



№ 2

„ПАРѲЕНОН“

ВЫШЛО ИЗ ПЕЧАТИ И ПРОДАЕТСЯ:

1. ДОСТОЕВСКИЙ и ПУШКИН — Сборник статей под ред. А. Л. Волынского
2. ИННОК. АННЕНСКИЙ—Пушкин и Царское Село

ПЕЧАТАЕТСЯ:

А. Л. ВОЛЫНСКИЙ—Леонардо-да-Винчи (сокращ. изд.)

А. Л. ВОЛЫНСКИЙ—Н. С. Лесков

Н. О. ЛЕРНЕР — Герои Пушшевого Века

Н. Ф. ПАВЛОВ — Именины, со статьей В. Данилова

СОБОЛЕВСКИЙ — друг Пушкина, со статьей В. И. Саитова, с эпиграммами и письмами

ВЛ. ПЯСТ — Л. А. Мей и его поэзия

ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ:

Б. Л. МОДЗАЛЕВСКИЙ — Пушкин в тайном надзоре

Э. Ф. ГОЛЛЕРБАХ — Царское Село в поэзии

М. С. ЛУНИН — Письма из Сибири, редакция С. Я. Штрайха

А. М. МУРАВЬЕВ — Воспоминания декабриста, ред. С. Я. Штрайха

С. Я. ШТРАЙХ — Офицеры в восстании 1820 года

НАРОДОВОЛЬЦЫ — Неизданные письма, редакция Р. М. Кантора

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
0001740831 5